

Правила бегства

I

АНКЕТА

Если я не за себя, то кто за меня?
Но если я только за себя, к чему я?

Древний вопрос

Мечтали ли вы стать, к примеру, бродячим фотографом?

Я мечтал. Бродить по деревням с ящичком древнего «Фотокора», расхлябанной треногой. Рассаживать в красном углу избы инвалидов войны, женщин с кирпичными от загара лицами и торжественно вымытых пацанов. «Внимание, снимаю... раз, два, три, спасибо». И, как результат близкого и понятного массам искусства, по стенкам замшелых изб — современниц Батяя, по стенкам новеньких совхозных коттеджей развешиваются в рамках изготовленные тобой копии лакированной действительности. Они раскрашены розовым, голубым и зеленым.

В полуденный час на опушке можно закусить вареным яйцом и луком, а затем можно лечь на траву и мечтать. Нет, не о снимке, который потрясет суетный мир фоторепортеров. Можно мечтать о бессмертии. Ты умрешь, а сработанные тобой фотографии будут висеть на стенах. Можно мечтать об избе, которую ты купишь на сбереженные рубли. Устроившись сторожем или клубным оформителем, купить избу и... А там, в непонятном далеком завтра, угаснуть где-то в перерыве между хоккеем по телевизору

и утренней рыбалкой, для которой даже заготовлены черви.

Но и вам и мне ясно — это пустая мечта. Профессия бродячего фотографа вымерла, как вымерла профессия странствующих иконописцев. Те шустрые люди, которые работают с камерой «Москва-2» на горячих курортных точках, никакого отношения к бродячим фотографам не имеют.

Я не случайно сравнил фотографов, работавших по деревням, с иконописцами. Вы все видали те непомерно увеличенные, заретушированные до степени символа фотографии на деревенских стенах. Вдумайтесь: разве это не есть иконы начала XX века? Их объединяет с иконами высокая степень символики. Лица на тех фотографиях гладки, чуть припухлы, правильны. Ни морщин, ни ссадин тяжелых лет. Какой немалый процент мужиков, напряженно глядевших когда-то в объективы, прямым ходом могут быть зачислены в святцы! Ибо они соблюли главное условие святости, отдали жизнь не за себя, за идею, в конце концов, — за других. Но до того, как умереть не за себя, они прошли через муки голода, усталости, неверия — через все, что объединяется словом страдание. Я верю, что это иконы.

Пройдут шальные десятилетия, и очередные жители очередных центров цивилизации будут собирать эти фотографии в последних деревнях страны, как недавно собирали самовары и лапти.

Есть много причин, чтобы мечтать о работе странствующего по деревням фотографа. Вы не стали геологом или летчиком. Но вы путешествуете по делу, не как турист. Ваша работа при вас. Вы причастны к тайному миру искусств. Вы — свободный художник: желаю — работаю, желаю — смотрю на облака и размышляю о смысле жизни.

Что смогут противопоставить этому апологеты нынешнего рационального человека в умеренно строгом костюме и с днем, расписанным на секунды? Есть истина, неотвратимая, как набегающий паровоз: все умрем, все там будем. И все это было, было, уже баловались рациональностью. И был Цезарь, который за неимением времени правил конем, диктовал, читал и еще что-то делал одновременно, был Рахметов, и сами вы сколько раз вешали на стенку железный и неотменяемый распорядок, о котором забывали через неделю. Одно истинно: все мы живем в силу обстоятельств, цепляющихся друг за друга. Древние индийские мудрецы называли это «колесом сансары». В переводе на нынешний — обыденка.

Но допустим... Ваша тихая блажь стала яввю, и вы — бродячий фотограф. Однажды в полуденный час, когда вы будете закусывать тем самым луком и яйцом на той самой обетованной опушке, не придет ли вам в голову вопросик: а почему вы, собственно, тот, кто сейчас есть? Может быть, ваше место не на этой опушке или не на этом поросшем травой откосе придорожной канавы, а в сферах таинственных и кондиционированно-прохладных, где решаются судьбы нынешнего мира. Может быть, вы — несостоявшийся конструктор тех хитрых устройств, о которых газеты пишут с многозначительной недомолвкой. Твои предтечи — иконописцы верили в идеологическую важность совершаемой ими работы. Веришь ли в нее ты?

И вот, пожалуйста, отрава готова.

Или другой вариант. Допустим, вы стали «человеком века» и ваша биография состоялась. Не придет ли однажды, среди расписанного по календарю дня мысль, мечта о том, что хорошо бы сейчас идти по сельским тропинкам с ящиком за спиной и сумой,

где лежат заказанные месяц назад фотопортреты? И начнешь вспоминать разную чепуху далекого детства — тропинки, жаворонков, небо, росу, и вдруг ударит телефонный звонок, против которого секретарша бессильна, и ты уже снова в делах. Но заноза в сердце осталась. Куда ни кинь, всюду клин. Интеллигентское самоедство.

Я думаю, что каждому среднему индивидууму свойственна мечта о побеге. В другую ситуацию, другой антураж, в другое занятие. Лишь редким достается величайший дар судьбы — точно найденное для конкретной его личности место. Редкий из неудачников решается на крутой поворот судьбы. А из тех, что свернули с торной дорожки, лишь редкие достигают цели. Большинство застревают в путанице тропинок. Посему я сформулировал для себя первое правило бегства: *убегая, оглянись на то, что оставил*. Будущее знать не дано, но то, что бросаешь, тебе известно. Оглянись и подумай.

Наша жизнь есть наша живая плоть, живая радость и боль.

Из наших поступков и намерений складывается то, что мы называем «анкетные данные». Думали ли вы о том, что мы живем в двух мирах — реальном и бумажном? Наша личность окружена десятками бумаг — от свидетельства о рождении до диплома о присвоении ученой степени. Каждый из нас заполнил в своей жизни десятки анкет. Мы зарегистрированы во множестве учетных служб — от больничной карточки до паспортного стола. Они живут параллельно — реально существующий человек и его бумажный двойник. Таким образом, великое племя канцеляристов неустанно занимается тем, чем занимались бы вы, будучи бродячим фотографом, — со-

зданием вашего абстрагированного до степени символа портрета, гораздо более отвлеченного и условного, чем фотография в розовых и зеленых тонах в деревянной рамке.

Итак, второе сформулированное мной правило бегства: если не нравится то, что тебя окружает, если ты решил изменить жизнь, видимо, единственной целью должно быть *установление гармонии между тобой и твоим бумажным двойником*.

Наверное, в отделах кадров должны сидеть ясновидцы. Вы убедитесь в этом, если в светлой тишине одиночества положите перед собой очередной бланк и вдруг задумаетесь, что стоит за написанными вашей же рукой «нет, не был, не имел, не состоял» и так далее. Ниже я попытаюсь это сделать.

Но, впрочем, достаточно. Я пишу эту вещь для печати, и я знаю, что читатель не любит героя, который бесплодно копается в самом же себе, который не дает нравственного примера. Мы все хотим нравственного примера.

Но столько вопросов, столько вопросов...

* * *

Лошак вел вездеход артистически. Рычаги он держал, как держат чайную ложечку хорошо воспитанные девицы. Длинное горбоносое лицо его было сонным, казалось, вовсе не Лошак ведет эту громающую по льду колымагу, а кто-то другой. Сам же Лошак наблюдает эту сцену из покойного кресла, со стороны, как смотрим мы телевизор, прихлебывая из чашечки кофе.

Рулев был рядом с ним, на председательском месте. Сиденье его в вездеходе Лошак самолично обтянул ворсистой красной дорожкой, сразу было видно,

что это не просто вездеход, а личный председательский транспорт. Рулев был в синей японской куртке. Красное кресло, синий нейлон и черные прямые волосы на рулевском затылке — отсюда, из кузова, все это гляделось. Казалось, что мы едем где-то под Москвой, а не по льду дикой реки у черта на куличках.

Я лег на оленьи шкуры, наваленные в кузове. На льду вездеход трясло все-таки мало. Траки гремели где-то у самого уха, точно внизу трясли железное решето с камнями. Я закрыл глаза, и перед глазами, как всегда в дороге, ползло тупое рыло вездехода, лед, снег, голые кусты с зарослями шиповника. Шиповника в этом году уродилась дикая сила, и ягоды все еще не опали — красное засилье над белыми снегами. Черные тени глухарей, взлетающих с берегов на излучинах, силуэты лосей, убегающих к сопкам от нашего грохота, след в слюдяном окопце, который тянулся за нами по нехоженой равнине первого снега — что и говорить, мы были в раздолье, в диком краю, вдали от двадцатого века.

Вездеход качнуло, и меня тут же начало подбрасывать, бить о железное дно — значит, Рулев решил завернуть к лесорубам на Константинову заимку. Я сел.

Лошак вломил вездеход в заросли тальника. Тальник поддался, потом уперся. Лошак кончиками пальцев переключил коробку скоростей, вездеход взвыл, и тальник лег под гусеницы. Ветки возмущенно заскребли по брезенту.

— Губишь природу, — сказал Рулев.

— Гы! — ответил Лошак. У Рулева все кадры были такие — артисты профессии, но не философы, куда как нет.

Приземистая изба лесорубов виднелась на мари издалека. Я увидел тонкую фигуру Поручика в пере-

тянутой ремнем телогрейке, потом рядом с ним появился согнутый Северьян, или, как все здесь его попростому звали, — Север. Северьян унырнул в избу, и тотчас из трубы пошел дым.

Вездеход, повинуюсь рукам Лошака, описал, как лыжник, плавную завершающую фигуру и замер, подрагивая. Лошак тотчас полез к мотору. Рулев задержал молнию на японской куртке и неспешно вышел на снег.

— Здорово, тунеядцы, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответил, улыбаясь, Поручик. Северьян же толчком кулака распахнул дверь.

Я поздоровался с Поручиком, протянул ему пачку своих сигарет.

— Спасибо, — сказал Поручик. Он разминал сигарету тонкими интеллигентскими пальцами. Я щелкнул зажигалкой.

— Благодарю, — сказал Поручик, и мы улыбнулись друг другу, точно подтвердили тайное родство наших душ, о котором незачем сообщать посторонним.

— Прошу в дом, — сказал Поручик и встал у двери, чтобы пропустить нас. И в который уж раз я поразился несоответствию между обстановкой и тем, что внешне являл Поручик. В этой позе, с сигареткой этой ему бы стоять не на фоне лиственничных, в обхват, бревен, а рядом с книжной полочкой, где Симеон, подборка журнала «Человек и закон» и прочее незамысловатое чтиво человека умственно-средних занятий.

Северьяна и Поручика я знал еще раньше, в Столбах. Они были людьми грубого лесного труда, и потому избу их не украшали журнальные картинки, как у рыбаков и охотников. Но чугунная печь хорошо горела, и длинные нары, застланные с лета сеном

и тальником, давали еще хороший запах увядания, смешанный со здоровым запахом папирос «Байкал».

Северьян пожал руку Рулеву, пожал руку Лошаку.

— Здорово, Северьян! — издали крикнул я, чтобы избежать металлического рукопожатия. Но Северьян, отодвинув в сторону Лошака, просунул длинную руку мимо Рулева, и я заранее прикусил губу. Северьян был простой мужик, деликатности он не знал. Впрочем, если бы я был лошадью, Северьян жал бы мне копыто куда бережней. Лошадей он уважал.

— Я однажды верхом проехал из Аян-Уряха двести верст, — год назад рассказывал мне Северьян. — После этого неделю лежал пластом, неделю ходил раскорячкой. А лошади хоть бы што. Это я-то пластом! Сильный зверь, лошадь!

Они шли тогда разрабатывать драгоценную делянку сухостоя, и вместе с ними был Поручик. Тогда я знал о них столько же, сколько сейчас. Согнутый от силы мышц Северьян, со своими ручищами до колен, наверное, всю жизнь рубил лес в местах, где лес почти не растет. Профессия лесоруба здесь схожа с древней профессией старателя. Надо найти участок разрешенного к вырубке сухостоя, свалить, разделать каменной твердости листовенницу, перетаскать на своем горбу в штабеля — о другом транспорте и речи быть не могло на этих тысячеверстных пространствах, где тундра сцепилась с тайгой в вековом единоборстве. Впрочем, оплачивался труд лесорубов щедро.

Осенью, сдав лес, Северьян шел возчиком в Якут-торг. Работа с лошадьми была для него чем-то вроде курортной поездки с умной и интеллигентной компанией.

О Поручике я знал только одно — он считал себя на месте лишь в низшей клетке штатного расписа-

ния. Впрочем, может быть, так считали и другие, не знаю.

Северьян грохнул на печку большую алюминиевую кастрюлю. Из замерзшего бульона торчали мослы.

— Браконьерствуете, мерзавцы, — сказал Рулев.

— В лесу-то? Без мяса? — возразил Северьян. — А зачем тогда лес?

Я сел на чурбак. Лошак, не снимая телогрейки, положил греть у печки какую-то железку. Рулев устроился на нарах. Смуглое насмешливое лицо его было умиротворенным, точно он наконец-то попал в нужное место и в нужное время, и теперь все будет хорошо, уж ничто не помешает. Он закрыл глаза и придвинулся к печке.

— Куртку свою спалишь, директор, — сказал Северьян. — Я в позапрошлом году такую же блестящую приобрел. Задремал с папиросой... — Северьян осекся, видно, вспомнив судьбу давней нейлоновой куртки.

— Синтетика не терпит огня, — сообщил из угла Поручик. Он сидел в тени у самодельного стола как хозяин, который видит, что гости осваиваются и мешать им незачем.

— Одеколону бы хоть привезли! — бухнул Северьян. — Лося сейчас разогреем. А с чем?

— Сколько раз я тебе говорил, Северьян, — не открывая глаз, сказал Рулев, — одеколон пить нельзя. Из-за эфирных масел портится зрение.

— Для морозного времени есть способ, — деликатно кашлянув, сообщил Поручик. — Берете железный прут, выносите все на мороз. Затем ставится чашка, и одеколон медленно льется по пруту в чашку. Спирт, не замерзая, стекает, все прочее примерзает к пруту.

— Бичи! — с ласковым укором сказал Рулев. — Как выработка?

— Семнадцать кубов взяли. Еще кубов пять разделано, но не сволокли в штабеля. Трактор гнать можно.

— Запиши, — сказал Рулев.

Это относилось ко мне. Я вынул блокнотик, паркеровскую авторучку и записал: «Третьего ноября. Константинова заимка. Северьян и Поручик. Семнадцать кубов в штабелях, еще десять на подходе».

— Принеси, — все так же не открывая глаз, сказал Рулев.

Это тоже относилось ко мне. Я вышел к вездеходу и взял из замотанного в шкуру ящика две бутылки спирта. Из рюкзака я взял термос.

— В честь наступающего праздника. И в честь ударной работы, — сказал Рулев.

Я поставил спирт на стол. Ноздри Поручика вздрогнули, Северьян медведем, без всякой цели, прошелся по избе и описал круг около печки.

— Может, заночуем? — с надеждой спросил Лошак.

— Завтра не утопишь? — Рулев все так же сидел с закрытыми глазами, и сильные залысины на лбу посвечивали в полумраке.

— Я? Гы! — обиделся Лошак.

— Тогда заночуем.

После вездехода у меня болела голова. Я отвинтил крышку термоса. Сильно запахло кофе.

— Будешь, товарищ босс? — спросил я Рулева.

— В тайге пьют чай, — наставительно сказал Рулев.

— Хороший кофе варят в Вене, — сообщил Поручик. — Когда я был в оккупационной администрации, хозяйка квартиры фрау Луиза каждое утро при-

носила мне в комнату кофейник с двумя чашками кофе. И сливки. В отдельной посуде. Настоящий китайский фарфор.

Поручику никто не ответил. Никто не среагировал на фрау Луизу. Северьян сунул палец в кастрюлю.

— Уже согрелось, — сообщил он. — Может, налить для начала?

— Успеешь, — сказал Рулев. — Видишь — стоит. Обратно не спрячу.

— Чего ждать-то? — простодушно возразил Северьян.

Рулев открыл глаза, поднял голову. Он улыбался. Улыбка у него была прекрасная, дерзкая, насмешливая и все понимающая.

— Филолог, — сказал он. Это относилось ко мне. — Ты жрешь кофе из термосной крышки, забыв о маленьких чашечках. Я сделаю из тебя мужчину, филолог. Ответ!

— Вы, как всегда, правы, товарищ босс, — заученно ответил я. Такая у нас была игра с тех пор, как я поступил к Рулеву.

— Труженики! — сказал Рулев. — Хлебы на столе. Манна также. Омоем персты, постелим скатерть и преломим хлебы.

Пить я не мог. Это все знали. Я не мог пить не из-за какой-то болезни, просто меня тошнило от одного запаха алкоголя. Поэтому я лег на нары.

За столом было шумно. Центром, как всегда, был Рулев. В вольно расстегнутой рубашке, с улыбкой своей, он царил за столом. Он не боялся панибратства с подчиненными, потому что верил — всегда он любого поставит на место простой насмешкой. Так и получалось.

— В капиталистических странах, — говорил Рулев, — выдумали общество анонимных алкоголиков.

Они там утешают друг друга и рассказывают о том, как им хочется выпить и как они побеждают это. Я — Рулев. Я создам республику для вас, алкоголики. Здесь не будет одеколона, денатурата и других жидкостей. Я уже запретил их привозить в магазин. Спирт будет. Всегда. Но только с моего разрешения. Ибо человек выпивающий от алкаша отличается тем, что на первом месте работа, а бутылка... ну, там, на пятом.

— На втором, — сказал Лошак. — Пусть будет на втором, а, начальник?

— Пусть, — серьезно сказал Рулев. — Прощаю тебе глупость, потому что ты знаешь машину. Больше от тебя и не надо.

Северьян, выпив, задумчиво держал в руке лосиный мосол. Глаза у него стали мечтательными. Наверное, он видел пейзажи из сухостоя. Вся география для Северьяна делилась на местности, где он взял хороший кубаж, и, напротив, были пустые, ничтожные долины и страны без всякого кубажа.

Поручик не закусывал. Он сидел все такой же изящный, деликатный, и глаза у него были пустые. Я знал, что завтра в этих глазах вместится вся тоска мира, если Рулев не даст опохмелки.

— В этом совхозе, — сказал Рулев, — будет республика гордых людей. Я сделаю из вас людей, тунядцы.

— Я не тот, — очнулся Северьян. — Я всю жизнь лес валю.

— О тебе речи нет, мамонт, — рассмеялся Рулев. — Ты кадр. Кстати. Лес мы добываем. Оленеводство у нас развивается. А рыба? Рыба в реке лед ломает. Но рыба — не лес. Тут нужен специалист. По ловле, засолке и так далее. Чтобы был товарный выход. Где взять людей? Чтобы не трепачи подмосковные, а знали рыбалку.

— Мельпомен, — сказал Северьян. В голосе его возникло почтение.

— Федор Матвейч по прозвищу Мельпомен, — подтвердил Поручик.

— Где?

— В Столбах. Его там каждый знает.

— Запиши, — бросил через плечо Рулев. — Полетишь. Привезешь.

— Записал, — сказал я.

— Он может не согласиться, — кашлянул Поручик. — Он гордый.

— Гордый! Гы! — сказал Лошак.

— Вот те и «гы», — пробурчал Северьян. — Ты ему скажешь «бичи-и», а он глянет и мимо пройдет. Вот те и ступил ты в г...

— У меня есть дипломат, — кивнул затылком Рулев в мою сторону.

— Уважение. Простор для инициативы и творчества. Хороший оклад. В руководство никто не вмешивается. Если я правильно понимаю рыбаков — любой настоящий будет согласен.

— Настоящи-и-ий, — вздохнул Северьян. — Уж он-то не я. Я только с лошадью говорить умею. А он хоть с министром, хоть с журналистом, хоть с самим председателем райисполкома. Слова знает.

— Пойду воду спуцу, — сказал Лошак. — Двигатель заглушу, утром с кипятком прогрею. Пущай отдохнет.

— Правильно. Вот наглядный пример: вначале работа, потом выпивка.

— Так выпили еще мало, — резонно заметил Лошак.

Я лег на бок и стал смотреть на спину Северьяна. Спина его, сутулая, обтянутая верблюжьим свитерком, состояла как бы из мощных длинных сухожилий

и грубо, но намертво сработанных позвонков. Северьян был простой человек, и спина его была простой и уютной. От нар шел спокойный запах увядшего с осени тальника, и я представил, как с севера к нам идет сейчас короткими перекочевками оленье стадо, закупленное у оленеводов Территории, и это стадо будет первым на обширных ненаселенных пространствах «хозяйства Рулева». Мы встретим стадо, Рулев передаст карту маршрута с разведанными ягельными пастбищами, который еще и названия не имеет. Потом мы вернемся в поселок, я по поручению Рулева вставлю лист в пишущую машинку «Колибри», закурю сигарету «Лорд» и буду стучать отчет о поездке в районное сельхозуправление. Для этого меня Рулев и держал, за божий дар писать докладные, объяснительные, отчетные и прочие бумаги.

Из толпы нерегламентированного народа, который Рулев набрал по всем забегаловкам области, наверное, самым бесполезным был именно я. Люди, которых набирал Рулев, имели одно качество — они знали точную земную профессию, знали гаечный ключ, рычаги, топор и так далее. Рулев утверждал, что прощельгу и профессионального тунеядца он видит сквозь стену, когда тот еще только идет к нему за авансом.

Я закрыл глаза, и вдруг в голове поползли гуманитарно закругленные мысли о том, как богата наша земля, от древности до наших дней, спившимися талантами. Вот тот же Лошак, ему бы командующего возить на параде, чтоб маршалский торс не испытал ни малейшей качки, а он был обнаружен Рулевым в старой барже на заброшенном причале.

Да, великий Лесков, описавший Левшу... И уж я лежал на своем московском диване, и знакомые голоса, и черт побери...

— Выпить хочешь? — спросил Рулев. Он сидел лицом ко мне и в упор смотрел на меня, и вокруг рта у него легла жесткая складка.

— Выпил бы, — сказал я. Я и в самом деле бы выпил, если б не паническая тошнота от запаха. Бывает же такое. Наверное, аллергия, как любят сейчас выражаться.

Анкета

Фамилия, имя, отчество

Возмищев Николай Петрович. Это я. Рост средний. Телосложение худощавое, субтильное. Лицо в меру интеллигентное. Волосы, зубы, нос, руки, подбородок — все как у людей. Общественный транспорт в конце и начале рабочего дня таких, как я, перевозит миллионами. На меня не оглядываются ни девушки, ни милиционеры; пьяницы не подходят ко мне просить десять копеечек, старушки не просят помочь перейти улицу. Как и миллионы, я спешу, в руке портфель или папка, одет ровно посередине между модой прошедшей и модой грядущей. В магазине мне не показывают два пальца. Родился я под знаком Водолея, значит, в феврале.

Анкета

Место рождения

Я родился и вырос в южном городке, не имеющем исторического, промышленного, стратегического, курортного или архитектурного значения. Наверное, этот городок возник неизвестно когда на перекрестке пыльных степных шляхов, там, где чумаки останавливались поить волов у пересыхающей речки. Кто-то поставил корчму, кто-то кузницу, кто-то открыл тор-

говлю дорожным товаром — и пошло, и пошло. Затем городок остался в стороне от железных дорог и, как мне кажется, в стороне от всего на свете. Осталось скопище одноэтажных домов, каждый со своим садом, большой дом райисполкома в центре, видимый отовсюду, невдалеке немалое здание горпромкомбината и еще здание бывшей церкви, где сейчас авторемонтные мастерские.

Единственной достопримечательностью является гора, к которой прилепился городок. Склон ее, обращенный к городку, весь занят садами, а противоположный склон гол, глинист, и ветер говорит там сам с собой среди сухих степных трав. Насколько знаю, с этой горой не связано никаких казачьих, разбойничьих или иных легенд о зарытых кладках. С вершины ее виден весь городок: и кирпичное здание школы, бывшей гимназии, промкомбинат, зеленые пятна камыша на речке, и еще виден шлейф пыли за машиной, едущей по степной дороге. Где-то еще дальше виден следующий клуб пыли, и можно долго сидеть и гадать, догонит ли вторая машина первую, и сольются ли эти две пыли воедино.

Семь лет назад, в июне, когда сдавались последние экзамены на аттестат зрелости, я сидел на вершине этой горы и знал, что через короткое время уеду отсюда и никогда не вернусь. Так и случилось. Может быть, с годами ко мне придет, как и ко всем, обостренное чувство родного места, единственного, где ты почти все узнал *впервые*. Но пока этого чувства у меня к нашему городку нет.

* * *

Оленей мы должны были встретить у горы Камень Такмыка. Их неспешно гнали сюда из полярных тундр пастухи совхоза, где олени были закупле-

ны. Рулев должен был встретить их и принять. Гору Камень Такмыка назначили сами оленеводы. В незапамятные времена там торговали племена, рассеянные среди лиственниц, безымянных рек и тундры.

Вся беда была в том, что принять оленей Рулев не мог. У него не было пастухов, а из тех кадров, что он набирал, не могли сразу получиться пастухи. И полугодового опыта Рулева хватило, чтобы понять — из бича, из рыбака, даже из самого что ни есть истового к правильной жизни рабочего пастух за несколько недель не получится.

Сейчас Рулев сидел в своем красном ворсистом кресле и курил свои сигареты. Вид у него был задумчивый. Лошак усердно вел вездеход мимо тысячетонных завалов плавника, мимо накренившихся на обрывах лиственниц, мимо скалистых прижимов с гнездами орланов на недоступных кручах, мимо этой тайги, которой нет конца и края. Ноябрьские дни сумрачны, и заваленные снегом хребты выступали вдали как неровности неба.

...Вся эта история была, наверное, следствием технического прогресса. И началась она два года назад. В междуречии крупных полярных рек, примерно в одинаковом удалении от Ледовитого и Тихого океанов затерялась область километров этак шестьсот на шестьсот. В прежние времена сюда забегали на лыжах эвены, так как для эвена дом — под любой лиственницей. Сменилось время, и как бы там ни было, но оленеводы и охотники стали жить поближе к культурным центрам. Оседлость поощрялась. А область осталась пустой. Сюда не могли подняться по реке баржи с грузом, тракторные поезда на такое расстояние разве что могли захватить солярку для самих себя.

Впрочем, во время войны несколько барж поднялось вверх по течению до Константиновой заимки. Для перегона самолетов из Америки требовался аэродром. Именно в этом квадрате. Аэродром построили из дырчатого железа, построили рядом бараки и службы. Он просуществовал несколько лет и был оставлен за ненадобностью.

О нем вспомнили, когда лозунг «авиация — транспорт XX века» стал входить в быт. Вокруг аэродрома решили создать базовый совхозный поселок. Не слышавший топора лес, нетронутые ягельные пастбища простирались вокруг. Кирпич, железо, продукты для совхоза решили возить на грузовых самолетах. Дело разворачивалось широко. Проект организации «аэродромного совхоза» предложили шустрые и дальновидные ребята из одного научно-исследовательского института. Они же дали подсчеты, что при правильной организации совхоз может давать самую дешевую оленину. Из шустрых ребят был и первый директор совхоза. Он продержался два месяца и сбежал, оставив прямо в сельхозуправлении свой финансовый отчет и наличные суммы. Наука оказалась далека от снабженческих дел.

...Мы подошли к Камню Такмыка ночью. Ковш Большой Медведицы благодушно сиял на небе, очень синем, что называют — бархатном. Стоял умеренный мороз. Над горизонтом поднималась луна, и плоская вершина Камня Такмыка торчала над зубчатым лесом, как крыша жилья великанов.

Лошак включил фары. Мы пересекли один нартовый след, другой, въехали на выбитую тысячами копыт тропу, и в свете фар мелькнула человеческая фигура с поднятыми руками.

Приехали! Лошак круто развернул вездеход, в щель кузова сзади влетело облако снежной пыли, попало

за ворот. Я оглянулся. В кузове лежал целый сугроб, укрывший ящики с продуктами, бочки с бензином. Только теперь я понял, что за этот суточный перегон не оглянулся ни разу, смотрел на дорогу, на гладкую ленту реки, на лиственницы — каждый раз за поворотом одно и то же, и каждый раз новое.

Вездеход остановился.

— Здорово, Мышь, — сказал Рулев.

— Начальник приехал! — счастливо воскликнул тот, кого Рулев назвал Мышью. В свете приборного щитка я разглядел совсем еще парнишку с жидкой бородкой, круглолицего и на вид глуповатого.

— Это Мышь, — объяснил мне Рулев. — Он кочевал со стадом.

— Начальник приехал! — повторил Мышь. — Приехал!

— Приехал, приехал, — сказал Рулев. — Сейчас вылезу, дам тебе пальчик, и можешь за него все время держаться.

Подходили люди.

Мы сидели на оленьих шкурах в довольно просторном пастушеском чуме. В центре под чайником горел костер, у входа могуче гудели два примуса под кастрюлями. Было жарко. Трое из пяти пастухов, пригнавших стадо, сидели рядышком сбоку от входа. Еще двое находились у стада. У пастухов были темные худые выразительные лица с резкими скуловыми костями, жесткие черные волосы. В вырезах расстегнутых пыжиковых рубашек виднелась гладкая коричневая кожа, — крепкие ребята. Они курили доставленный нами «Беломор» и молчали. Я неплохо знал историю их племени и сейчас, кажется, понимал, почему в полярных владениях царской России именно этот северный народ оказался единственным, который не платил дани.

СОДЕРЖАНИЕ

Правила бегства. <i>Роман</i>	5
Тройной полярный сюжет. <i>Повесть</i>	211
Дом для бродяг. <i>Повесть</i>	347
Чудаки живут на Востоке. <i>Повесть</i>	395